

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССРВыходит под редакцией: В. Ставского, Е. Петрова
В. Лебедева-Кумача, Н. Погодина, О. Войтинской.20-летие
ВЧК—
ОГПУ—
НКВД

К двадцатилетию ВЧК—ОГПУ—НКВД

В день 20-летия ВЧК—ОГПУ—НКВД Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) горячо приветствуют работников и бойцов НКВД, честно и самоотверженно выполняющих свой долг перед советским народом по борьбе со шпионажем, вредительством, диверсией.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) желают работникам и бойцам НКВД полных успехов в их работе по искоренению врагов народа.

Да здравствует НКВД, карающая рука советского народа!

СНК СОЮЗА ССР
ЦК ВКП(б)

НЕУТОМИМЫЕ ЧАСОВЫЕ

Двадцать лет назад, в грозе и буре первых дней молодой советской власти, в огне восстаний и заговоров возникла по делу о работе в крестьянском правительстве Всероссийская чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией.

Под неустанным руководством Феликса Дзержинского, ВЧК нанесла контрреволюции ряд смертельных ударов, обезглавила антисоветские силы и воспитала боевые кадры чекистов, неутомимых часовых советского государства, бесменно и неуслышно охраняющих его покой и безопасность внутри страны и на ее бесконечных границах.

Огромный путь, овеянный героическими легендами, изобилующий примерами замечательной личной доблести, неустрашимости, преданности партии и стране, прошел за двадцать лет славные органы ВЧК—ОГПУ—НКВД, ставшие орудием и мечом пролетарской диктатуры, не знающим пощады к врагам родины и народа.

Под руководством сталинского наркома Николая Ивановича Ежова, достойного преемника железного Феликса, органы НКВД разгромили презренные банды троцкистско-зиновьевских и бухаринских выродков, предателей и изменников, гнусных чуждых псов мирового фашизма, и показали всему капиталистическому миру мощь советской разведки, опирающейся на помощь и доверие многомиллионного советского народа.

Органы НКВД создали железную стену на наших границах и выставили героев пограничников, подвиги которых перешли в песни народа — Коробичина, Котельникова, Лагоду.

Да здравствует меч пролетарской диктатуры — НКВД и его железный нарком, товарищ Ежов!

Бор. ЛАВРЕНЕВ

Чекисты

В манчжурском городе N устраивалось предприятие, окруженное глубокой тайной. Мы не можем знать всех подробностей этого предприятия, коль скоро оно устраивалось тайно, но рассказы живых участников его дают возможность установить с точностью, что основателем предприятия был офицер императорской службы одной из соседних с нами держав. Имя его участники забыли.

К нему — то есть к офицеру императорской службы — был вызван казакский вахмистр Астраханцев, найденный каким-то образом где-то в лесу, где он служил в охране, был он уроченным Дальнего Востока, происходил из уссурийского казачества, являлся с советской властью до такого состояния, что потом, живя в Китае, никогда не мог забыть, как все люди, разделившись, разувшись, в удобстве и покое, спали по отдельным и клял рядом оружие. Иначе, как он сам признавался, на него падало дикое возмущение. Причиной, повлекшей на его плечи, являлся боевой эпизод, когда Астраханцев полутоптал бежал от внезапной атаки наших партизан. Словом, было что-то такое, от чего на всю жизнь не мог вахмистр спокойно уснуть.

Здесь, в манчжурском городе N, Астраханцев встретился с молодыми людьми второго поколения белой эмиграции, именовавшими себя фашистами. Астраханцев давно относился с презрением к белым партизанам. Чего, собственно говоря, находил красоту на болото? Болото останется болотом. Главарь партии — воры. Все их дело заключалось в том, чтобы добывать деньги и провозглашать. Притом, какая разница — почитать ли японский там наравне с царским «Боже, царя храни» или все же парскому отдавать предпочтение? Астраханцев достаточно умен и ослобен. Ему совершенно безразлично: кому ему дадут или отвяжут. Он обещал неоплатить закордонную советскую зарплату и по большому приему готов был идти туда, — мстить пока есть силы.

Офицер иностранной службы предложил ему работу. Притом же был тут русский поэт. Речь шла о божественной миссии. В лагерь клялись из сильного действия. Астраханцев отлично понимал суть дела. Предприятие было диверсионное, террористическое, рассчитанное на большой размах.

Отряд был составлен из отборных молодых людей, выросших в эмиграции. Астраханцев им давал как знатока местности и старого служаку. Ядро отряда имело особую подготовку. Это была школа неведомого типа. Если отряд давал зад, то это серьезное дело, оно требует знания правил, сообразуясь с которыми можно вызвать большие бедствия, но — там, где это нужно, где это интересно, где это даст наибольшие результаты.

Работа ЧК — НКВД всегда воспринималась многомиллионной страной как работа, направленная к ее защите, к охране ее жизни. Вот почему вся страна с таким энтузиазмом, с таким горячим чувством благодарности всегда приветствовала деятельность карательных органов. Вот почему рабочие и трудящиеся всех сел и городов Советского Союза единодушными аплодисментами встречали приговор советского суда над врагами народа.

НКВД — это оно народа и меч народа. «...доверие трудящегося народа — для большевика это все», — сказал товарищ Ежов. «Без доверия народа и жизни нет для нас».

Глубокая преданность народу и партии, неразрывное единство с народом и партией — вот что воспитало чекистов-наркома, в чем их сила, в чем залог их побед. В истории великих боев за лучшие идеалы человечества, за партию социализма на всей земле о работе НКВД будут написаны героические и славные страницы.

Да здравствуют верные часовые Страны Советов! Безгранично дорого для каждого советского патриота имя замечательного большевика Николая Ивановича Ежова. Да здравствует руководитель НКВД Николай Иванович Ежов, защитник и друг народа, охраняющий нашу светлую и радостную жизнь! Да здравствует тот человек, умом, волей и сердцем которого живет и гордится весь трудовой мир! Да здравствует Сталин!

Н. НИКИТИН



Феликс Эдмундович Дзержинский.

Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции. Гроза буржуазии — вот чем был Феликс Дзержинский.

И. СТАЛИН.

Око народа, меч народа

Хитрый и подлый враг, подкупленный фашистской разведкой, затеяв мести, ожесточение и злобу, всегда ищет слабое, незащищенное место, чтобы нанести предательский удар. Хитрый и подлый враг, используя роженичество, расхлябанность и растерянность, пытается осуществлять свои гнусные дела. Хитрый и подлый враг работает неустанно, на его совести лежат кровавые расправы и убийства лучших сынов народа и лучших людей партии.

Хитрый и подлый враг, как бы он ни назывался — эсер, меньшевик, троцкист, бухарин и прочая сволочь, но душа у него одна — душа волка, и дело его одно — дело волчье.

Хитрый и подлый враг не брезгает никакими средствами, везде на всех фронтах нашей жизни — в политике, в хозяйстве, в армии, в искусстве и литературе — он мечтает только об одном — как бы сорвать нормальную работу, как бы навредить народу.

Во имя социалистических прав человека и гражданина работают карательные органы советской власти. Они охраняют право советского народа на труд, на отдых, на образование. НКВД — карающая рука советского народа. Во имя охраны человечества органы НКВД уничтожают озверевших фашистских убийц — троцкистско-бухаринских шпионов, вредителей, диверсантов.

Несмотря на звериную ненависть, несмотря на то, что в этой черной борьбе против врагов, против родной страны врагом были употреблены все виды изощренных, все способы чудовищного предательства, несмотря на все это, хитрый и подлый враг неизменно все-таки бывал разоблачен, раскрыт, уничтожен, и его позорные дела получали заслуженное возмездие. На страже родины, на охране всех достояний советского народа стояли и стоят чекисты, наркомы-убийцы.

В чем же тайна этой победы? В том ли, что наши карательные органы хорошо работают? Да, они прекрасно работают. В том ли, что в их среде такие люди, как Феликс Дзержинский, с железной волей, с пламенным чистым сердцем, всегда служат образцом и примером? Да, работа в карательных органах советского государства требует полной отдачи всех своих сил, всех своих способностей, всей своей жизни. Моральная чистота, честность, полная преданность партии, дисциплина, знания, воля, неутомимость, горячая любовь к родине — вот качества истинного чекиста.

Быть может, секрет победы заключается также и в том, что враги народа слабеют наших карательных органов? Да, конечно, враги слабеют. Но они становятся наиболее опасными, когда, сподобившись

О созыве первой сессии Верховного Совета СССР

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

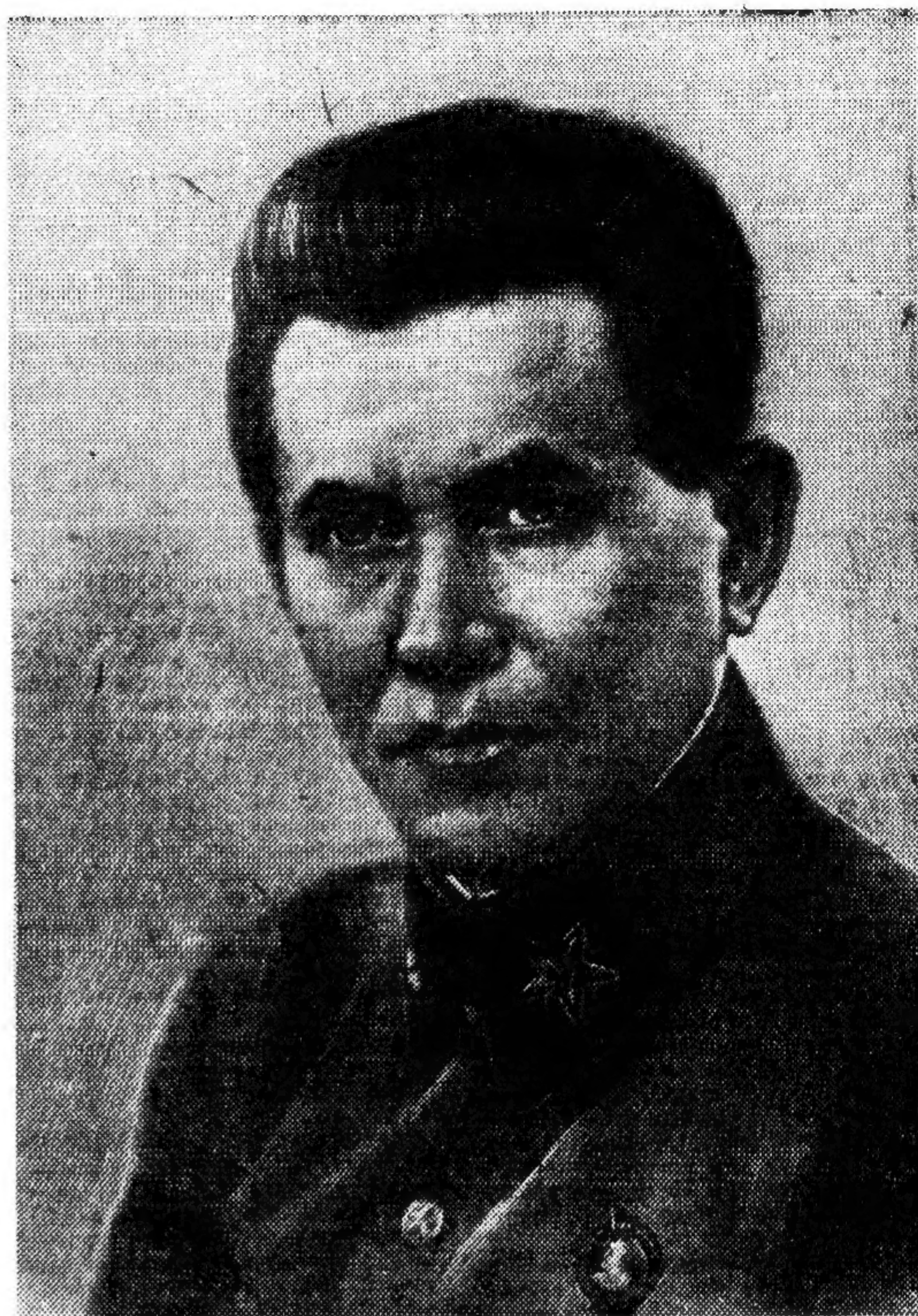
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР на основании статьи 35 Конституции СССР постановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 12 января 1938 г. в г. Москве.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР — М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР — А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 19 декабря 1937 г.



Николай Иванович Ежов.

Работа в органах НКВД является наградой сама по себе, поскольку народ доверяет тебе этот острейший участок защиты интересов всего Советского государства. Отсюда и требования народа к работникам НКВД более повышенные. И первойшей, священной нашей обязанностью является оправдать это доверие.

Н. ЕЖОВ.

Боевые традиции

Война — это не обязательно столкновение вооруженных масс людей, снабженных разнообразными орудиями разрушения и уничтожения. И война — это не обязательно организованное объединение одних в форму людей, дивизии, полки, эскадрильи, танки и самолеты.

Есть война — скрытая, и война — тайная.

Такая война — это война капиталистического шпиона, и такая война ведется против нас окружающими Советский Союз странами вот уже пятнадцать лет, считая с последнего откровенного залпа орудий последних интересов.

И покамест Красная Армия, совершенствуясь с каждым днем, готовится к открытому нападению врагов на нашу родину, — в этой скрытой войне регулярные бои с армией шпионов и диверсантов ведет советская разведка НКВД.

Нельзя сказать, что мы в этой трудной скрытой войне. Ликвидация там-боських военных и среднестатистического басмачества, процесс эсеров-террористов, процесс шахтинских вредителей, «крестьянский центр», промпартия и, наконец, разгром троцкистских бандитов, этих признанных академиков двурушничества и предательства, зашпигованных, вдобавок, всеми последними достижениями шпионского искусства Гестапо.

Над этим блестящим циклом систематических побед советской разведки, право, стоит, призадумавшись тем новыми кадрами шпионов, которых обучают сейчас русскому языку и правилам советского поведения в шпионских университетах зарубежных стран.

В каждой стране в течение всех этих двадцати лет хозяева и хозяйки посылали и посылают в дремучую тайгу и в быстрые реки, в горы и на поля, в города и в пустыни, всюду, где есть объекты социалистического хозяйства, — убийцы, наемники, диверсанты, политические пройдохи, высших и нижних чинов огромной тайной армии шпионажа, чтобы взорвать изнутри это государство, развалить базы социалистического хозяйства СССР и показать пролетариату всего мира, что вековая мечта его несущественна.

Они проникли в страну, меняя имена и личности, совершенствуясь год от года в подлых приемах подкупа. Они рыскали по стране, приживаясь и приспосабливаясь, отыскивая остатки разбитого победным шествием революции класса собственников и их лакей. Они уживались все: и личное доверие, и стремление к наживе, и связи, и политическое бесстрашие ных руководителей. Они организовывали кучки и банды, поручали поймавшим в их сети недавно еще советским людям диверсионный акт, полное предательство, прямое убийство.

Но странное дело: в этой стране существовало, очевидно, какое-то неугасающее всей многовековой практикой шпионажа обстоятельство: как бы тонко и хитро ни было организовано омерзительное предательство, как бы ни была законспирирована та или иная кучка, какой бы перестрахованной личиной ни прикрывались влиятельные вожачи лодыжки шпионажа, — неизменно и ждал провал. Искусно сплетенная сеть, в которую вот-вот должны были погрузиться члены Совета, безжалостно расползалась как раз накануне решительных действий.

В чем же, собственно, дело. Почему никакая другая страна не смогла бы выдержать такого систематического напора тайных шпионских сил, способных отравить полутьмой эжевой предательства любую другую страну.

Дело в самой сущности нашего государства рабочих и крестьян. Дело в том, что в самом начале революции, при первых шагах советской власти рабочие и крестьяне выдвинули из своей среды самых зорких и самых непоколебимых людей, создали свой аппарат разведки и назвали его ВЧК.

ВЧК, ОГПУ, НКВД — эти совершенствующиеся формы советской разведки, сохранявшие лучшие боевые традиции Урицкого и безупречного Феликса Дзержинского, навсегда оставившего в нашей памяти безупречный образ чекиста, — связали своими со всей историей двадцати лет строительства социализма в нашей стране. За ними сотни и тысячи предпринятых действий. Сколько раз они лопнули за руку, поджигателя войны, отравителя, организатора массовых убийств, умных и осторожных врагов, взвешивавших каждый свой поступок, шептун, разлагавший единство народа. Сколько раз в напряженной тишине пограничной полосы раздавался негромкий оклик: «стой, ложись!» — и очередной агент очередной страны покорно ложился в снег или в дугу, или в последний отчаянный отстреливался, пытаясь вернуться в ту страну, которая его посылала.

Основная сила ВЧК—ОГПУ—НКВД была и есть в политической народности советской разведки, в органической и нерушимой ее связи с широкими массами народа, славяного моральными и политическим единством. Огромное большинство советских людей само обращает внимание НКВД на тот или иной участок, где, по их мнению, «что-то неладит», и если опытный шпион, диверсант или вредитель можно еще как-нибудь укрываться от официальных органов охраны советского бытия, то спрятаться от народного внимания, окружающих его повседневной, на работе и в частной жизни, стеснен людей — невозможно.

Легенда о Сусанине, заведшем в непроходимый лес банду польских диверсантов, в нашей советской действительности реализуется каждую декаду на всем протяжении советской истории. Только советским, «сусаниным», случается, бывает и меньше пятнадцати лет от роду, и заводят они диверсантов не в непроходимый лес, а прячась в командатуру погранохраны.

Время наступает горячее. К своему двадцатилетию НКВД и его сталинский нарком Николай Иванович Ежов оказали советской стране и каждому из нас неоценимую услугу, вскрыли отвратительный троцкистско-бухаринский гноище, переполненный алком предательства и кровью нависшей над нами войной. Война отодвинула, но прервал ее стеной над миром, и нет сомнения, что на смену этим разгромленным отрядам спешно формируются за рубежом новые полки тайной армии шпионов и поджигателей войны. Поэтому-то надо «помнить» и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое окружение, — будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами иностранных государств... (Сталин).

Все мы в равной мере ответственны перед трудящимся человечеством и перед историей мира за целостность и мощь очага мировой революции. — Страны Советов, страны освобожденного труда. Поэтому обязанность каждого честного советского гражданина помогать НКВД в его героической борьбе с тайной армией капиталистического шпионажа, ведущей свою скрытую войну любыми предательскими средствами.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

В Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР

16 декабря 1937 года Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР в закрытом судебном заседании в порядке закона от 1-го декабря 1934 года было рассмотрено дело по обвинению Енукидзе А. С., Карахана Л. М., Орашелашвили И. Д., Шаболдаева Б. П., Ларина В. Ф., Метелова А. Д., Цукермана В. М. и Штейгера Б. С. в измене родине, террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 58-1а, 58-6 УК РСФСР.

Все обвиняемые полностью признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.

Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР приговорила обвиняемых Енукидзе А. С., Карахана Л. М., Орашелашвили И. Д., Шаболдаева Б. П., Ларина В. Ф., Метелова А. Д., Цукермана В. М. и Штейгера Б. С. к высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

Руставелиевские дни

Подготовка к юбилейным дням, посвященным великому грузинскому поэту Шота Руставели, охватывает все большее и большее количество областей и республик Советского Союза.

В Харькове в библиотеке им. В. Г. Короленко открылась выставка, посвященная великому грузинскому поэту. В красочных экспонатах изображены картины Грузии в живописи, искусстве и архитектуре и творчестве Шота Руставели.

38 художников Азербайджана готовят к юбилейным дням картины в скульптуру, посвященные поэту. В частности, над бюстами Шота Руставели работают скульпторы Сабаян и Орбелян. Скульптор Триницкий изобразил Шота Руставели пишущим свою поэму.

Юбилейные дни в Баку будут отмечены торжественным заседанием Бакинского комитета, вечерами на площадях культуры, клубах. Большой вечер, посвященный Шота Руставели, организует союз советских писателей Азербайджана.

Торжественные заседания состоятся и в районах Азербайджана: в Нухе — заседание пленума городского, в Нахичеване — ЦИК Нахичеванской АССР, в Степанакерте — пленума областного исполкома.

В районах Азербайджана на юбилейные торжества союз писателей направляет 20 докладчиков — писателей и поэтов Азербайджана.

Юбилейная комиссия по проведению юбилея Шота Руставели в Узбекской ССР решила провести празднование 750-летия со дня рождения поэта с 24 декабря 1937 г. по 1 января 1938 г.

На юбилейные торжества в Грузию выезжает специальная делегация Узбекстана. К юбилею проведена большая работа по переводу бессмертной поэмы «Вепхис ткаосани» на языки народов СССР.

«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ» В ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Гениальное произведение Шота Руставели переведено на многие иностранные языки. В начале прошлого века французский ученый Брюссель в 1923 году поместил во французском журнале «Обзор Азии» статью под заглавием:

«Первая история Руставана, арабского короля, изложенная на основании грузинской поэмы «Витязь в тигровой шкуре». По рукописям Публичной библиотеки. В Брюсселе, в том же журнале Брюссель напечатал исследование о грузинской поэзии, уделяя в этом труде значительное место поэме Руставели.

В 1933 году вышел в свет перевод поэмы на польский язык. Переводчик Ничацкий выполнил свою работу ритмической прозой.

В восьмидесятых годах прошлого века поэма «Витязь в тигровой шкуре» была переведена грузинским общественным деятелем Иона Мукаргия прозой на французский язык.

В 1895 году появляется французский перевод, сделанный Аха Борни под заглавием: «Тигровая шкура» по Руставели.

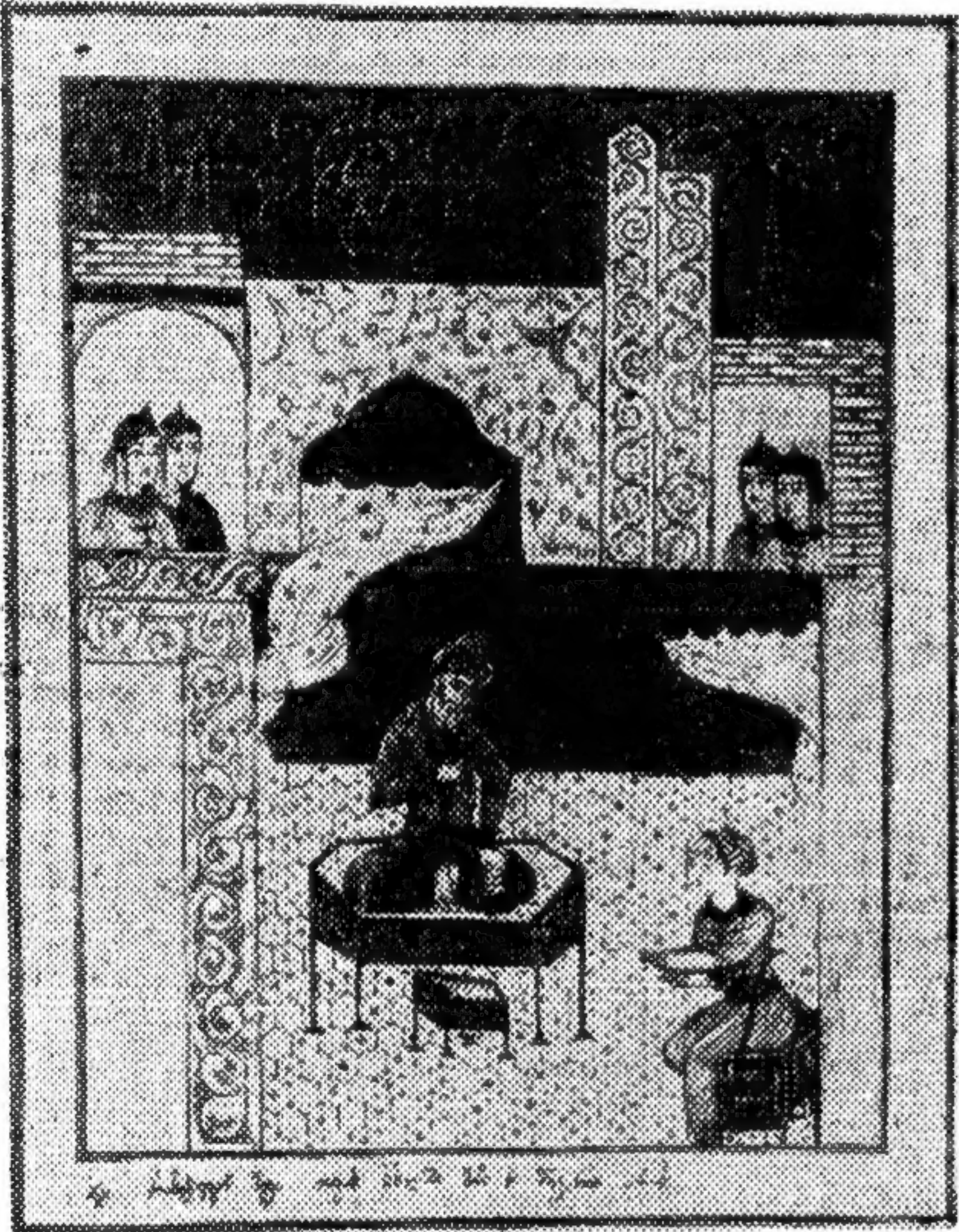
Следующие переводы гениальной поэмы на иностранные языки относятся уже к XX веку. Большая работа в этой области была проведена Марджори Уорд; она около десяти лет прожила в Грузии, все время работая над переводом поэмы на английский язык. Книга была издана в Лондоне в 1912 году и сейчас представляет библиографическую редкость.

Упоминание о Руставели в английской литературе мы находим также в большом труде Аллена «История Грузии», где в главе, посвященной XII веку, автор отмечает расцвет культуры Грузии и появление такого замечательного поэта, как Руставели.

В БИБЛИОТЕКАХ

Передовая шахта № 75 Метрострой готовится к юбилею великого грузинского поэта Шота Руставели. В библиотеке и в городском клубе живут рабочие 75-й шахты, где проводены громкие чтения отрывков из поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В библиотеке шахты организуется большая выставка, посвященная жизни и творчеству великого поэта.

Библиотека московского Дома крестьянина решила провести по красным уголкам общешахт Дома громкие чтения отрывков из поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В библиотеке Дома будет организована большая стационарная выставка. Другая передвижная выставка предназначается для красных уголков.



Царь Руставан во дворце.



Терзиль пишет письмо царю хатаяц.

С. ТРЕГУБ

Страница корчагинской правды

Когда моряков-подводников, поставивших рекорд длительности плавания, спрашивали:

— Чем вы занимались в редкие минуты отдыха? — они отвечали:

Читали «Как закалялась сталь».

Бойцы Среднеазиатского военного округа, переселившиеся с просторных просторов пустыни, на привале брали в руки книгу Николая Островского, и она освещала их, помогала им преодолевать усталость.

Туберкулезобольные Баландинского санатория предложили пользоваться этим произведением как лечебным средством. — Я считал себя уже погибшим, — сказал один из них, — но после прочтения «Как закалялась сталь» ощутил новую приток сил, энергии. Я понял, что еще не погиб, и что сопротивление не напрасно. Не врач, а большой Павел Корчагин вернул меня к жизни.

— Я прочла вашу книгу, — писала Николаю Островскому одна из многих тысяч его юных читательниц. — Она привнесла в меня очень большое впечатление. Ни одна книга не была для меня такой близкой, понятной, такой необходимой для жизни, как ваша.

Необходимая для жизни книга! Какие из других признаний, каковы из других писем могут сравниться с этой?

Литературные способности и чистоплотность, дающих возможность — только подлинно-высокая поверхность, увидевшая в «Как закалялась сталь» лишь увлекательную биографическую анекдот. Ушел этот книги, полнота, она была явлена лишь личной судьбой автора. Они были убеждены в том, что книга к ней быстро улетит, и что в истории советской литературы от нее не останется и следа.

Так думали не только салонные ценители изящного искусства. Так думали все еще склонные думать некоторые товарищи, имеющие свои хранилища культуры и полагающие, что общепризнанное признание Николая Островского талантливым писателем оскорбительно для их эстетического вкуса. Готовые показывать величайший смелый роман, они высокомерно и презрительно отыскивали о его художественных достоинствах.

Захваченные литературными дворцами и неведомыми, раскинувшись перед каждым подползновенным переплетом, у которых внимание литературы ограничивается преискусственным переписыванием успешных классиков, — как убого и как жалко их предостережение о социалистическом искусстве.

Пять лет назад Николай Островский впервые облетел наши сердца пламенным своим вдохновением, глубокой искренностью чувств, предельной правдивостью образов, потрясающим драматизмом событий, неуловимым пафосом оптимизма, жанровой полнотой. Пять лет назад начал свою жизнь мужественный и благородный Павел Корчагин — герой его первой книги.

«Он стоял на братском кладбище, у могилы дорогого и незабвенной девушки Вали, посвященной белогвардейцами, и говорил себе:

— Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлостью и мелочью прошлого, и чтобы, умирая, смог сказать:

— Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо сие жить, ведь целая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее.

Хилый, слепой и недвижный, немощный страдальцем, пытаясь тяжким недугом, ежедневно, ежедневно, ежеминутно атакуемый жестокой болью, он пришел в мир, чтобы своей кровью, своим дыханием своей жизнью отстоять великую и священную правду этих слов. Он пришел в мир, чтобы вспомнить нежность и молодую любовь и тоску, и бумажному герою, чтобы показать чудотворную, живительную силу лопнувшей, непреложности и непоколебимости нашего духа.

И Павел Корчагин стал одним из любимых героев народа.

ко их предостережение о социалистическом искусстве.

Пять лет назад Николай Островский впервые облетел наши сердца пламенным своим вдохновением, глубокой искренностью чувств, предельной правдивостью образов, потрясающим драматизмом событий, неуловимым пафосом оптимизма, жанровой полнотой. Пять лет назад начал свою жизнь мужественный и благородный Павел Корчагин — герой его первой книги.

«Он стоял на братском кладбище, у могилы дорогого и незабвенной девушки Вали, посвященной белогвардейцами, и говорил себе:

— Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлостью и мелочью прошлого, и чтобы, умирая, смог сказать:

— Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо сие жить, ведь целая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее.

Хилый, слепой и недвижный, немощный страдальцем, пытаясь тяжким недугом, ежедневно, ежедневно, ежеминутно атакуемый жестокой болью, он пришел в мир, чтобы своей кровью, своим дыханием своей жизнью отстоять великую и священную правду этих слов. Он пришел в мир, чтобы вспомнить нежность и молодую любовь и тоску, и бумажному герою, чтобы показать чудотворную, живительную силу лопнувшей, непреложности и непоколебимости нашего духа.

И Павел Корчагин стал одним из любимых героев народа.

«Он стоял на братском кладбище, у могилы дорогого и незабвенной девушки Вали, посвященной белогвардейцами, и говорил себе:

— Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлостью и мелочью прошлого, и чтобы, умирая, смог сказать:

— Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо сие жить, ведь целая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее.

Хилый, слепой и недвижный, немощный страдальцем, пытаясь тяжким недугом, ежедневно, ежедневно, ежеминутно атакуемый жестокой болью, он пришел в мир, чтобы своей кровью, своим дыханием своей жизнью отстоять великую и священную правду этих слов. Он пришел в мир, чтобы вспомнить нежность и молодую любовь и тоску, и бумажному герою, чтобы показать чудотворную, живительную силу лопнувшей, непреложности и непоколебимости нашего духа.

И Павел Корчагин стал одним из любимых героев народа.

«Он стоял на братском кладбище, у могилы дорогого и незабвенной девушки Вали, посвященной белогвардейцами, и говорил себе:

— Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлостью и мелочью прошлого, и чтобы, умирая, смог сказать:

— Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо сие жить, ведь целая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее.

моя Островского такими органичными, естественными и законными.

Литературный Жид, желая подчеркнуть мнимую талантливость Николая Островского, его «художественность» в среде советской молодежи, назвал его «свадьбой».

Представляя его страстотерпцем и мучеником, надевая его чертами ханжеского церковного благочестия, Жид отделил Николая Островского от его сверстников, от его поколения, воздвигая стену между ним и советским народом.

Как негодный Островский, когда до него доносились истерические возгласы старых литературных дед о его «необычности», «свадьбе», «исключительности».

С какой гордостью и радостью он всегда говорил о своем счастье быть бойцом революции, символом нашей великой партии, нашего великого народа.

— В чем смысл всех этих попыток сделать из меня человека не от мира сего? Так каждый рабочий паренек или девочка, прочитав «Как закалялась сталь», сумеет сказать себе: Корчагин был таким же, как и мы, простыми рабочими. И он сумел победить все, даже предельное свое собственное тело. Счастье людей было его счастьем, и он, как подлинный большевик, нашел в этом высшее для себя наслаждение. А иначе? Разве мы можем следовать ему, быть такими, как он? Мы ведь «средние», а он «редкостный».

Органически неведомый и презираемый эгоистом и трусом, жидом, жуликом, на ползком корку, пантешеских возмущений от любого удара жизни, Николай Островский оставался верен и общности своего пути для каждого, кто беззаветно и беспрестанно предан своей родине. Жизнь принадлежит ей, жизни до последнего вздоха. Никто не имеет права уйти со своего поста без сопротивления.

— Если я умру, — говорил он, — значит я был разгромлен целиком. Если бы во мне могла жить хоть одна клетка, и бы сопротивлялась.

Таким был Павел Корчагин из «Как закалялась сталь», таким был Андрия Птаха из «Рожденные бурей».

«Мы в своей жизни старались быть похожими на тех замечательных людей, которые называются старыми большевиками, которые через героические бои привели нас к счастью жить в стране социализма. И мы, юноши, стремились быть похожими на этих людей, которых люди уважали, стремились быть подобными всем душой нашим товарищам, нашим вождям. И когда жизнь свалила меня в постель, я все отдал для того, чтобы доказать своим воспитателям, старым большевикам, что молодое поколение класса не сдается ни при каких условиях. И я боролся. Жизнь старалась

сломать меня, выбить из строя, и я говорил «не сдаюсь», ибо я верил в победу. Я шел потому, что меня окружала нежная ласка партии. И я теперь радостно встречаю жизнь, которая подарила мне возвращение в строй».

Николай Островский — художник, творивший созданием им образов теплом своей собственной биографии, сам сорвавшись у самого истока их жизни. В такие минуты «усталости духа» он сам не раз своим воспоминанием воспринимал на помощь героический образ Павла Корчагина. Да, это было так! Вот почему он счел необходимым, делая свой творческий отчет советскому герою ВКП(б), заявить:

«В печати нередко появляются статьи, рассматривающие мой роман «Как закалялась сталь» как автобиографический документ, т. е. как историю жизни Николая Островского. Это, конечно, не совсем верно. Роман мой — прежде всего художественное произведение, и в нем я использовал свое право на вымысел. В основу романа положено немало фактического материала. Это роман, а не биография, скажем, комсомолец Островского. Должен сказать об этом, так как иначе могут упрекнуть в отсутствии большевистской скромности».

Это сердечная правда. Корчагин был и для Николая Островского мерлом мужества и благородства.

— Корчагин был не поступил, — сказал он однажды о непереносимой горечи, когда терзаемый внезапно обостренными физическими страданиями не в силах был выполнить одно малозначительное обязательство.

Подвиги его были просты и обычны, как прост и обычен был героизм легендарных коммунистов Лаза, сожженного японцами в паровозной топке, как прост и обычен страстный призыв Давидовича Иоарури:

— Лучше быть вдовым героем, чем жеманным трусом.

Другими они быть не могли. Восставшая линия повеления против них естественна, чужеродна их мышлению и чувствованию, она равна измене.

АННА КАРАБАЕВА

Николай Островский



Николай Островский
Умер 22 декабря 1936 г.

по-приходской школе, «для простых», у них строгости были — невыносимые: чуть что — ребят без обеда, а то на колени на горю ставили... по у них был едкий, они его колючим звали... Вот и Павлу Корчагину такой же отвратительный по мужику, учиться не давал. Буду я и дальше про него читать — среди моих приятелей есть человек по семидесяти лет, уже могут понимать кое-что...

Часа три-четыре просидели мы с этой милей девушкой на почти безлюдном берегу у тихого осеннего моря, разговаривая о Николае Островском.

— Я за то его люблю, — говорила Марина (так звали девушку), — что у него была за справедливая жизнь так упорно бороться, что себя не жалел... Я как об испанцах читал, так сейчас же и об Островском вспоминаю...

— Сколько среди испанских солдат, которые о проклятых этих звериных-фашистах воюют... сколько среди них таких, как Павла или как Андрия Птаха... Верно? И еще за то я его люблю, что у него всего есть: богатство и храбрость, он, скажем, Павла и Андрия, и веселый, и умный, и дружелюбный, и востро у них есть богатство... Такие всегда и радость сумеют сделать и горе пережить... вот это люди! Нам всем надо такими быть, как Павла, Сара, Андрия, Олеса, как сам Николай Островский!.. Ох, и до чего же жалко, что отстоять его от смерти не пришлось!.. Будь он жив, мы, молодые, его бы выдвинули в депутаты Верховного Совета выставили бы обязательной...

Она готова была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

Она была еще долго расспрашивать меня об Островском, интересовалась каждой мелочью подробностей его жизни и работы, во я должна была ей напомнить об ее маленьких друзьях, которых, наверное, уже пора домой.

На порошке, откуда уже выдвинулась белая пирамида братского кладбища, мы расстались с Мариной. Некоторое время в прохладном воздухе еще вела себя песня, которую пела она вместе с неутраченными своими друзьями. Вспоминались последние слова девушки: «некоторые книги читаешь — и так себя чувствуешь, будто все события происходят где-то прямо за твоими плечами, а не вдали от тебя... А когда Николая Островского читаешь, так и кажется тебе, точно с кем родным разговариваешь или от родного письма получаешь... Я вот чувствую, что у него так много-много от жизни взято!».

ское воображение щедро питалось от богатого опыта его бедного, но подлинно боевого и деятельного жизни. Этот опыт он всегда стремился обогащать своим собственным. «У него так много из жизни взято!» — в отношении Николая Островского звучит, как абсолютно заслуженная оценка. По этому поводу мне вспоминается показательный случай, связанный с именем великого писателя. Мать Залка, героиня

Догма и творчество

Вряд ли найдется литератор, который усомнился бы в необходимости и пользе теории.

Когда, в противовес раповской схоластики, после 23 апреля заговорили о необходимости конкретной критики, нашлись люди, которые поняли это как призыв к тому, чтобы писать о литературе, а не о литературе. Теория занимается многими. И тем не менее теоретическая слабость значительной части нашей критики бесспорна.

Никто из критиков не написал внятно, просто и толково о том, что такое социалистический реализм или социалистическая романтика, хотя разговоры на эту тему было немало.

Однако нет более бесплодного занятия, чем теоретизирование ради самого теоретизирования. Теория обязательно должна отталкиваться от живых примеров.

Есть критики, которые думают, что если они изобретут свою специальную литературную методологию, то это избавит их от неприятной необходимости разбирать произведения советской литературы. Нет! Раз уж ты называешься критиком, раз ты избрал себе эту бесплодную специальность, — потрудись честно и нелицеприятно оценивать возникающие вокруг тебя литературные явления. Конечно, легче всего возложить на себя ослепды методологической пифии и восторженно изрекать туманные, абстрактные советы и пожелания. Но читатель и писатель не легче от того, что иногда год эта пифия занимается теоретическим разбором своего теоретического противника на близлежащем журнале, второй год исследует эстетические взгляды деятелей прошлого, а на третий год придумывает себе какое-нибудь другое, такое же безжизненное и бесполезное занятие. Есть у нас люди, которые превратили это в профессию.

Они любят писать о покойниках, причем о хороших проверенных покойниках, или об абстрактных вопросах (хорошо проверенных вопросах), или — обычно с негодованием — о других критиках, занимающихся такой же мрачной и таинственной алхимией, как они сами.

С каким ужасом смотрят писатели и читатели на громадные непроходимые статьи, утыканные кавычками, сносками, скобками и явными многоточиями. С какой тоской гадает читатель на эти длиннющие периоды, от которых волосы становятся дыбом:

«художественный образ есть отражение действительности; но действительность не воспроизводится в образе, а через посредствующий процесс переработки ее в сознании художника, причем, разумеется, сознание определенного, социального, классового направления».

Эта фраза в 1933 году выпала из-под пера т. М. Розенталя.

Прошло четыре года. Много появилось за это время низверженных произведений и в прозе и в поэзии, возникли новые темы, выдвинулись ряд новых молодых талантов, были разоблачены в литературе замаскированные враги. За это время т. М. Розенталь написал много статей. Но читая их, можно подумать, что к этому же времени в литературе не случилось. Тем же унылым языком, покрывшимся от постоянной болтовни мохолами, продолжал он писать и в 1934 году все на ту же свою любимую «методологическую» тему:

«противоречие между идеальными убеждениями много-миллиарда писателя и результатами его реалистического изображения действительности не есть нечто художественное противоречие, а выражение в области художественной практики глубокой классовой противоречия, огромных социальных сдвигов, которые происходят в обществе».

«Никогда-никуда» писатель, так оно спокойней!

К ней же, любимой своей «методологической» теме возвращается т. М. Розенталь и в 1935 году. Его же занят и в 1936 и в 1937 году. Слова «социалистический реализм» употребляет он бесцельное количество раз, цитирует из произведений Маркса и Ленина, приводит чуть ли не на каждой странице, клянется в верности диалектическому мате-

риализму прозисом непрерывно, а читая эти статьи невероятно скучно, потому что нет в них дыхания жизни. Они сплошь состоят из умозрительных рассуждений, холодных, бескровных и равнодушных.

«...полюс социализма должна быть и будет эпохой диалектической обработки всей истории мышления, естествознания, искусства», — печатает он в разрядку, которую мы на экономии места не сохраняем.

«...социалистический реализм, новая социалистическая эстетика должна строиться как наука об историческом развитии искусства и литературы в связи с историческим развитием общества», — сообщает он в следующем абзаце.

И все это попрежнему мучительно справедливо и банально. Все это однообразно, как дрянные штабеля.

И в одном конкретном примере, если не считать перетяжки имен классиков или советских писателей, которые в нужных местах автор прозисом равнодушно скороговоркой, как старушка на чеховской «Канители».

И в одной живой, свежей и, главное, собственной мысли! Ни одного проблеска любви к тому, к чему-нибудь явлению советской современности, ни одного гневного слова о дурных или враждебных советскому народу произведениях.

Обращается т. М. Розенталь к Льву Толстому, и снова он анализирует разные «методологические проблемы», совершенно не касаясь разбора произведений гениального писателя. Пишет он о Максиме Горьком, и снова бесконечное и пустое теоретизирование. Читая эти статьи, можно подумать, что ни Толстой, ни Горький не писали художественных произведений, а только высказывались от случая к случаю на «искусствоведческие» темы, «ставили вопросы», «призывали», «хорошо понимали», выступали с руководящими указаниями и подвигали мировоззренческий фундамент. А вот поди ты, этот самый фундамент подвалили, — так и остается неясным, потому что художественными произведениями этих великих писателей критик совсем не интересуется, будто их и не было никогда.

Иногда т. М. Розенталь нет-нет да и выскажется на тему, лежащую за пределами его заколдованного «методологического круга». И тогда становится страшно за его неосведомленность в самых простых вопросах. Однажды он разоблачил, что с ним случается крайне редко, — один советский роман. Разоблачил он «Не переводя дыхания» И. Эренбурга и, в частности, фигуру его героя — Генки.

«Политически Генка советский человек», — благожелательно сообщает критик и тут же добавляет: «Но Генка до мозга костей враг буржуазным предпринимателям в основном, в отношении к товарищам, к своему коллективу, к жене, к своему ребенку, в любви».

Нас не интересует сейчас ни Генка, ни самый роман «Не переводя дыхания». Не в них дело. А дело в том, что т. М. Розенталь считает «естественными» такие важнейшие стороны жизни человека, как дружба, семья, любовь, отношение к коллективу. Он думает, что можно быть «политически советским человеком», оставаясь буржуем в личной жизни.

Тов. М. Розенталь редактирует два литературно-критических журнала, ухитряясь почти не высказываться о советской литературе. Почему же тов. Розенталь тщательно обходит все так называемые «скользкие» темы? Так и не знаем мы за несколько лет его работы ни его литературных вкусов, ни его положительной программы, ни его литературных антипатий. Теория, которой он занимается, суха, абстрактна и не так уж полезна. Высказывается он всю свою литературную жизнь о социалистическом реализме, а что он под этим реализмом подразумевает на деле — остается тайной.

Кого из нашей литературной молодежи выдвинул М. Розенталь? Кого поддержал одобрительным отзывом? Кому из писателей помог? Кого из врагов советской литературы он разоблачил? Ни одного имени назвать невозможно. Нет у М. Розенталя настоящих литературных друзей, как нет у него и литературных врагов, если не считать критика типа И. Нусанова, о котором

у него уже давно ведется длинная и неприятная гонимая, ведется по всем принципам «литературной полемики» — со взаимным страстным уличением в искажениях, в недопирывании, в извращениях, в переделках и недоделках, со всеми этими запрещениями приемами провинциальных борцов, которые когда-то выворачивали друг друга пальцы гленибуль в передвижном кинотомном цирке.

Нечего им сказать по существу социалистического искусства. Вот они и тешат себя залорной литературной перебранкой.

К сожалению, деятельность т. М. Розенталя — яркий, но не единственный пример литературной схоластики. Есть, скажем, критик Д. Тамарченко, который пишет точно так же:

«Диалектическое единство активности реалистического образа, с одной стороны, и активной роли мировоззрения в творческом процессе — с другой, определяют внутреннюю противоречивость всего буржуазно-дворянского реалистического искусства» («Звезда» № 4, 1937).

Когда читаешь подобные экзерсисы, кажется, что на зубок скрипит речной лесок. Кроме всего прочего статьи т. М. Розенталя и Д. Тамарченко, скажем прямо, неинтересные статьи.

Но вот беда: критическая схоластика — это тяжелая болезнь поражает иногда и способных людей. Есть, например, критик т. М. Лифшиц. Уже лет пять он пишет о Маяковском и Гейне на искусство. Не так давно он собрал свои статьи и выпустил их отдельной книжкой. В ней любовно собраны даже предисловия, которые он писал для соответствующих хрестоматий. Так подробно излагает обычно только полные собрания сочинений классиков. Но за все пять лет этот критик написал лишь одну рецензию на «Горькую линию» Шухова и этим ограничил свое соприкосновение с советской художественной литературой. Не слишком ли это бережное отношение к себе?

Нам кажется, что можно без труда найти и еще не мало примеров того, как люди буквально захвачены слепой методологической работой. Все свои силы и знания они отдают исследованию очень серьезных литературно-теоретических проблем, но делают это так абстрактно, так сухо, что результаты приносят весьма малую пользу нашей литературе, ее живому развитию и росту.

Следует напомнить этим товарищам замечательные слова Сталина:

«Существует марксистский догматический и марксистский творческий. Я стою на почве последнего». («На путях к Октябрю», 2-е издание, 1925 г., стр. 109).

То, что работы ряда наших теоретиков страдают догматизмом, является бесспорным фактом. Нельзя думать вперед дело марксистско-ленинской литературной теории, оставаясь на почве одних только голых рассуждений и методологических споров, кропотливо и бескомпромиссно пережевывая философскую терминологию на литературные грабли.

Только нежеланием брать на себя ответственность за собственные мнения можно объяснить молчаливость многих критиков. Именно тогда, когда нельзя молчать, когда надо говорить и спорить об искусстве.

Многие критики должны крепко задуматься над своей судьбой. Товарищи методологи! Вы наверно помните на истории нашей страны, что существовали люди, называвшиеся педагогами, и была даже такая, как бы сказать, наука — педагогика. Где теперь эта «педагогика»? Кто о ней помнит? Как бесследна ее судьба! А сигнала она потому, что была оторвана от жизни, была схоластика, ничего общего не имела с народом и его требованиями, а следовательно, была вредна.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

Как критики должны писать? Здесь точные рецепты невозможны. Но в сущности дело тут простое. Надо писать по совести, честно, ясно, прямо и правдиво. Надо сказать, о чем пишешь, иметь, что сказать, и говорить полным голосом — любя или не любя — но всегда искренно и по совести. И если советский критик будет писать по совести, — а совесть у него — большевикская совесть, — то он несомненно выразит вкус и желания народа.

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«Книга для родителей» А. Макаренко

Виктор Шкловский

В учебниках арифметики были раньше задачи о бассейнах.

В самом простом виде задача выглядела так:

«Из бассейна выливается через трубу в час столько-то ведер воды. Через сколько часов бассейн будет опорожнен?»

Задача эта в элементарной арифметике решается неверно: если отверстие на дне бассейна, то скорость течения падает по мере того, как опускается поверхность жидкости.

О скорости процесса нельзя судить по первому его моменту.

Первая книга писателя обычно создается при наибольшей высоте уровня его интереса, при наибольшей мобилизации жизненного опыта.

Вторая книга лежит на грани между использованием биографии и овладением мастерством. Рецензия на вторую книгу — трудная рецензия.

Вторая книга Макаренко — явление особого рода.

Эта книга написана с определенной целью. Она написана не о том-то и том-то, а для того-то. Это — литературный инструктаж.

Макаренко не столько рассказывает о явлениях, сколько о том, как надо их переделывать.

В книге есть своеобразное писательское видение.

Вещь составляется на чередованиях рассуждений и кратких, иногда не законченных, новелл с большими включениями дублицистичности.

Во второй книге А. Макаренко заново начал свою литературную работу.

Берешь книгу и видишь, что автор думает не о литературной удаче. Давление новой книги Макаренко очень высоко.

Нельзя говорить о том, что семья отживает свое время.

Те, кому приходится ходить по квартирам неуспевающих учеников и учеников, отбившихся от дома, знают эту картину: приходящий, комната чистая, у мальчика или у девочки своя чистая кровать; отец и мать не в соре, почему же ребенок стал безнадзорным?

У него дома нет места — нет угла, где лежал бы его книги и висела бы самая полюбившаяся картина или портрет; он в семье — колючий жилец.

Книга Макаренко посвящена вопросу о месте ребенка в семье и об отношении семьи к обществу.

Макаренко не отделяет своей писательской работы от задач дня.

Потому его книга не угрожает судьбе второй книги.

Заметки о содержании книги

Книга Макаренко после небольшого введения дает короткое толкование о том, как родители теряют своих детей, как создаются детские неурядицы и трагедии.

Автор разбирает понятия о «равных мальчиках», о «равных девочках», о «равных девочках», о «равных девочках», о «равных девочках».

Оказывается, что эти анонимные мальчики, судьба которых состоит в том, что они горят «домашних» мальчиков, могут их испортить только тогда, когда ребенок потерял связь с семьей.

Дальше первая глава рассказывает о неудачных педагогических экспериментах.

Педагогические секреты, которые можно было бы сообщить и тем, кто не интересуется воспитанием, не существует ни в книге А. Макаренко, ни в жизни.

Книга построена на анализе отдельных случаев.

Первая глава книги очень разбросана благодаря тому, что автор все время переходит на публицистические рассуждения.

Против этого будут возражать, но вряд ли правильно.

Публицистическая вставка в беллетристическую книгу или публицистический образ — законнейшее действие искусства.

В некоторых главах дается ряд конфликтов, в которых принимают участие дети и те же действующие лица. Тогда в книге появляются нечто вроде небольших повестей. Так построена 6-я глава; в ней показано, как воевали дети на дворе, и как по-разному относились к этому родители.

Очень большой раздел в книге рассказывает о том, как боролись отбыватели одного города с развалом реки.

Развал реки Макаренко тоже интересует с особой точки зрения.

Показывает он сына полуклада, полукустаря.

Смысл этого вконец с улицы отбегает лужу

к себе на двор, чтобы играть с бумажными корабликами на собственной воде.

Дело это было глупое, потому что все воду со двора стоило.

Чувство собственности здесь доведено до абсурда, причем далеко не комического.

Жалость к собственной луже находится у многих людей на дне сердца в составе прочей грязи.

На борьбе с разлившейся рекой автор дает борьбу идею в семье.

Он показывает отношение родителей к детям, распад неправильно построенной семьи; мальчик видит звериний ядливый собственности и в результате отказывается от своего отца.

Макаренко торопится описать, многое недоговаривает.

А хочется узнать, как дальше жила семья, на описанном.

Материала в книге затронуто на несколько книг.

Очень интересно все, что говорит Макаренко о половом вопросе в семье. Говорит он серьезно, с новым пониманием человеческих отношений.

Книга Макаренко написана о советской семье как о части советского общества.

О месте, которое могла бы занять книга среди других книг

Книга не совсем беллетристична, и кажется нам, что автор воспринимает это как свою вину.

Как художник А. Макаренко — человек свободный и пишет так, как это нужно для его темы.

Но вот он вставляет в свою книгу описание советской библиотеки.

В описании библиотеки дана характеристика многих советских книг, и здесь автор становится так любезен, как будто он по старинному принимает гостей.

Вот характеристика А. Макаренко: «Дорога на океан» — это серьезный умный товарищ, он никогда не убоится, о девочках или принципиально не кланяется, а волит компанию только с сухими и сухими хитрыми мужиками в розовых очках.

«Звезда» — это мальчишья книга с меланхолическим характером, на читателя смотрит неужелижно, и читатель ее боится, а если обращается к ней

